

(хотя мотив этот чрезвычайно устойчив и повторяем в лирике Анненского), а в непонятном на первый взгляд оксюмороне «чуткое забвенье».

Вал. Кривич в своих воспоминаниях об отце писал: «Его сон, в большинстве случаев, выражался в каком-то легком, прозрачном полузабытии, во время которого неустанно продолжала работать мысль {...} Это почти непрерывное ощущение безотдышной работы мысли, которое было иногда, по его словам, поистине мучительным [14, с. 216—217]. «Чуткое забвенье» в процитированных стихах, собственно, и есть та самая «безотдышная работа мысли», которая и понимает силу очарования «вянущих лилей», и одновременно противостоит ему, находя звук их паденья «сухим и странным». Мысль распознает в ярком эстетическом явлении — смерть. Сам Анненский выразится однажды кратко и сильно: «Побеседует мысль, так как только мысль может разложить обаяние на элементы и сделать его отвратительным» [5, с. 273]. В «Падении лилий» мысль еще не доводит свою работу до конца, не делает обаяние отвратительным. Это произойдет потом в «Кипарисовом ларце», но в данном случае важно само направление этой «безотдышной работы».

Связь мотива смерти, осмысляемой как эстетический феномен, с мифологической странствий Одиссея в «Тихих песнях» несомненна. Она легко может быть опознана в стихотворении «Сентябрь» — одним из ключевым в книге:

Раззолоченные, но чахлые сады,
С соблазном пурпура на медленных недугах,
И солнце поздний пыл в его коротких дугах,
Невластный вылиться в душистые плоды.
И желтый шелк ковров, и грубые следы,
И понятая ложь последнего свиданья,
И парков черные, бездонные пруды,
Давно готовые для спелого страданья...
Но сердцу чудится лишь красота утрат,
Лишь упоение в замороженной силе;
И тех, которые уж лотоса вкусили,
Волнует вкрадчивый осенний аромат.

Нетрудно различить здесь отсыл к хрестоматийному пушкинскому «пышному природы увяданью», но у Анненского увяданье и пышность трансформированы в тему обаяния смерти. Красота осенней природы — это проявление распада и тления несбывшейся, неосуществившей себя полностью жизни с ее «грубыми следами обид» и «ложью последнего свиданья». Гниющая листва, источая «вкрадчивый аромат», и застоявшиеся «черные, бездонные пруды» волнуют соблазном последнего, окончательного *забвенья*. В «Одиссее» спутники хитроумного героя попадают на остров лотофагов где, вкусив дарующего забвенья лотоса, забывают о конечной цели своего путешествия (ср. процитированные выше стихи о «хмельно-розовом напитке», усыпляющем «мечту»). В «Сентябре» мотив лотоса связан с мотивом наркотического любования красотой осени, одетой в золото и пурпур. Но эстетическое обаяние распада волнует лирического героя Анненского не настолько, чтобы он забыл о том, что это — смерть. Одиссей в сюжете античного мифа сумел услышать соблазнительное пенье сирен, и в то же время нашел трезвый способ избежать при этом неминуемой гибели. Лирическое «я» в этом стихотворении сполна переживает гибельный соблазн «красоты утрат» и упоения тлением, но тем не менее отказывается вкусить лотоса. Мысль и память в конечном счете остаются при нем.

Вот почему глубоко неправ был Бахтин, назвав лирику Анненского «голосом вне хора» и определив ее как «декадентскую» [15, с. 149—150]. В основе его поэзии лежала прежде всего духовная трезвость, мобилизованная воля, постоянное бодрствование мысли и нравственного сознания. Циклон Скуки потому и хмелен «от золотого зноя», что дневное бытие напоено многообразными дурманами,